

Константин Станюкович

Ужасная боле

Константин Михайлович Станюкович
Ужасная болезнь
Серия ««Морские рассказы»»

Zmiy

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165782

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 1.:

Правда; Москва; 1977

Содержание

I	4
II	12
III	16

Константин Михайлович Станюкович УЖАСНАЯ БОЛЕЗНЬ

I

Трудно с точностью определить начало болезни, сгубившей моего бедного приятеля Ивана Ракушкина. Он уже был юноша семнадцати лет, с еле пробивавшимся пушком на бледном лице, с большими голубыми глазами, болезненно-самолюбивый, застенчивый малый, добрый товарищ, кончавший вместе со мною курс в одном специальном заведении, когда однажды, поздно ночью, проснувшись от жестокой зубной боли, я увидал следующее: Ракушкин приподнялся на кровати, внимательно озираясь, потом тихо встал, подошел к лампе, уменьшил в ней огонь, оделся и, осторожно крадучись, словно боясь, чтобы кто-нибудь не проснулся, прошел в залу и скрылся в темноте. Через несколько времени, сквозь стеклянные двери спальни, видно было, как в зале засветился слабый огонек.

«Верно пошел приготовляться к экзамену!» – по-

думал я, несколько изумленный таинственностью, с которою он совершал свое путешествие по спальне. Мне долго не спалось. Я хорошо слышал, как часы медленно пробили два, три, четыре... Огонек все еще мерцал в зале... Наконец послышались те же осторожные шаги, и я увидал Ракушкина, с теми же предосторожностями возвращавшегося назад. Я кашлянул. Он вдруг замер на месте, обратил свое лицо в мою сторону и еще тише прокрался далее, разделся и лег в постель.

Меня это заинтересовало. Наутро я подошел к Ракушкину и неожиданно спросил его:

– Куда это ты ходил ночью?

Он весь вспыхнул до корней волос и, заикаясь, ответил:

– Ночью?.. Я никуда не ходил!.. Да... ходил воду пить... Ужасная была жажда!

Я было хотел наотрез сказать ему, что он врет, что в течение трех часов воды не пьют, но, когда взглянул на его смущенное лицо, на его большие голубые глаза, растерянно глядевшие куда-то вкось, мне стало жаль Ракушкина, и я больше ни о чем его не спрашивал.

Через несколько дней я встал в четыре часа утра, чтобы позаняться перед экзаменом. Смотрю: кровать Ракушкина пуста. Я вышел в залу. В самом конце ее,

при свете мерцающего огарка, я увидел знакомую фигуру товарища. Я подошел ближе... Ракушкин спал, склонившись над столом. Перед ним лежала большая толстая тетрадь, а сбоку руководство астрономии, раскрытое на предисловии автора. Ясно было, что он не астрономией занимался. Я заглянул в тетрадь: на открытой странице были написаны стихи; перевернул страницу, другую, третью, – везде стихи и стихи, редко попадалась, впрочем, и проза...

Я прочел еще не совсем засохшую страницу стихов, но каких стихов! Ужасных! Я и теперь хорошо помню следующее двустишие, блестящее свежими чернилами, написанное в честь Петра Великого. Оно врезалось в мою память, и никогда ничем не выбьешь его оттуда:

О, Петр, Петр, ты великий гений,
Мы о тебе хороших мнений!

Я понял все. И таинственные ночные экскурсии, и крайнюю скрытность приятеля. Тогда же припомнилось мне, как год или два тому назад, однажды в классе, когда не было преподавателя, сосед Ракушкина вырвал у него листок бумаги и, несмотря на протесты Ракушкина, громко прочитал перед классом стихотворение, начинавшееся, сколько помнится, так:

Вчера во сне свою Гликерию я видел,
Полураздетую, с распушенной косой...

Я позабыл дальнейшие строки, но помню, что в конце концов Гликерия звала поэта следующими стихами:

Идем... Идем!.. Сокроемся под кипарисной тенью
И предадимся там любви и наслажденью!

Общий взрыв хохота двадцати трех молодых саврасов приветствовал эти строки. Все безжалостно готали, нисколько не заботясь о том, что в это время делалось с бедным Ракушкиным. Я взглянул на него. Он был смертельно бледен. Его странные голубые глаза с какою-то мольбой глядели перед собою. Губы дрожали... Весь он как-то съежился... Вдруг из глаз его брызнули слезы. Он закрыл лицо руками и бросился вон из класса, под звуки оглушительного хохота.

– Господа!.. – заговорил один товарищ, которого все звали «математиком», презиравший литературу и называвший «бабой» или «литератором» всякого, кто выказывал трусость, слабость характера, или не понимал поэзии аналитики. – Господа! Это подло! За что мы обидели Ракушкина?..

Резкие эти слова подействовали на класс. Все за-

тихли и решили извиниться перед Ракушкиным. Послали за ним двух депутатов, и, когда Ракушкин пришел красный, как пион, класс торжественно извинился, и дело было кончено.

С тех пор я никогда не видал, чтобы Ракушкин писал стихи, никто его не дразнил, и все забыли об его стихах... Он сделался еще скрытнее, всегда аккуратно запирает ключом свою конторку в зале и часто удалялся от товарищей, просиживая где-нибудь в стороне за чтением какого-нибудь романа или стихотворения.

Оказывалось, что он писал стихи по ночам, тайно от всех, выбирая такое время, когда никто не занимается.

Я хотел было отойти, как вдруг Ракушкин проснулся, посмотрел на меня сонным взглядом, потом быстро вскочил, взглянул на тетрадь и, схватывая мою руку, спросил:

– Ты читал?

– Читал...

– Не говори им... пожалуйста... Не говори! – сказал он умоляющим голосом.

Я обещал никому не говорить.

– Ты сам пишешь стихи, – продолжал он застенчиво, – и поймешь, что смеяться над этим глупо... Я тебе правду скажу... Помнишь, третьего дня, ночью,

ты кашлянул, а потом утром спросил меня, куда я ходил?.. Я ходил сюда... Я каждую ночь сюда хожу... Я много написал... Ты не выдашь меня?.. Нет?.. Вот сколько я написал! – быстро, словно захлебываясь, проговорил он с скрытым торжеством в голосе.

И он показал мне, кроме толстой тетради, лежавшей на столе, еще две таких же толстых тетради.

– Все стихи?

– О, нет!.. У меня есть тут и повести, и рассказы... есть даже один роман. Хочешь, я тебе прочту? Только не здесь... Здесь нас могут увидеть. Приходи как-нибудь в воскресенье ко мне домой.

Я обещал прийти. С этого времени мы сблизились с Иваном Ракушкиным. Он, бывало, часто декламировал мне свои стихи, говорил о своих задуманных поэмах и спрашивал, как передать их в редакцию так, чтобы никто не узнал имени автора.

В одно из воскресений я целый день слушал роман Ивана Ракушкина. Роман был ужасный. Ни проблеска дарования, ни одного сколько-нибудь правдивого положения, ни фантазии, ни здравого смысла, так что я удивлялся, как мог неглупый Ракушкин сочинить такую непроходимую глупость.

– Ну, что? – спросил он меня, когда кончил, и вдруг побледнел.

– Я, брат, плохой судья...

– Ты не решаешься сказать?..

– По моему мнению... нехорошо.

Он опустил голову.

– Но ведь это твой первый роман? – поспешил я утешить Ракушкина.

– Первый...

– Сокрушаться нечего... Может быть, второй будет лучше.

Он вдруг повеселел и торжественно сказал:

– Я тебе прочту повесть! Увидишь, какая это повесть!

Повесть была не лучше романа, и я высказал ему откровенное мнение. Ракушкин переменял разговор, и мы возвратились вместе в заведение, не проронив ни слова во всю дорогу. На следующий день он подал мне следующую записку:

«Не сердись, если я тебе выскажу правду. Ты сам пишешь; мне показалась в твоём отзыве завистливая нотка. Я понимаю это чувство в писателе и не сержусь на него, но проверь себя... так ли это?»

Я был просто сконфужен. Я сам тогда марал бумагу и, быть может, отнесся к Ракушкину строже, чем бы следовало... «А что, если в самом деле зависть?» – подумал я и тотчас же ответил ему:

«Ты прав, Ракушкин. Я, быть может, отнесся несправедливо. Я не уверен, но мне кажется, что не

следует авторам читать свои произведения друг другу».

После этого мы пожали друг другу руки. Вскоре Иван Ракушкин, выдержавший отлично выпускные экзамены, объявил, что выходит из заведения.

– Что же ты думаешь с собой делать?

– И ты еще спрашиваешь? Я буду писать. Бабушка даст мне триста рублей в год, с меня этого довольно... Я во что бы то ни стало напишу достойную меня вещь!

– Да, кстати... – спросил я. – Ты посылал что-нибудь в редакцию?

– Посылал, – грустно ответил Ракушкин. – Ответили, что слабо... Это меня сперва огорчило, но потом... Ты ведь знаешь, что истинные таланты долго не признаются! – торжественно заключил он и с гордым видом прибавил. – Прощай! Ты еще услышишь об Иване Ракушкине!

Мы дружно простились с ним и обещали писать друг другу. Я скоро уехал из Петербурга.

II

Прошло четыре года, в течение которых я ничего не слышал об Иване Ракушкине и не встречал его имени ни в одном из журналов. Я снова вернулся в Петербург, вспомнил о старом товарище и разыскал его. Он жил в маленькой комнатке очень бедно и по-прежнему писал ужасное количество романов. Мы обрадовались друг другу.

Он похудел, побледнел, редко обедал, но не унывал и бранил все редакции. Оказалось, что не было редакции, где бы не находилось его рукописи, так что под конец во всех редакциях боялись, как огня, имени Ивана Ракушкина.

Его дьявольское упрямство и уверенность крайне изумляли меня. Самолюбие и обидчивость его сделались несравненно щекотливее, чем были прежде, так что с ним трудно было говорить о предметах, касающихся литературы. Мы часто с ним виделись и нередко проводили время вместе с третьим товарищем, молодым актером, недавно поступившим на сцену. Разумеется, при Иване Ракушкине мы избегали говорить об его произведениях, да и вообще о литературе. Он сам тоже редко начинал. Но, помню, раз кто-то из нас заметил, что Бальзак, прежде чем стал знамени-

тым романистом, написал несколько плохих романов. Вдруг Иван Ракушкин весь просиял и, краснея, проговорил:

– Великие писатели всегда так начинали!

Было ясно, что он думал о себе и не терял надежды.

Однажды Ракушкин принес к нам (я жил вместе с актером) толстую рукопись и просил прочесть. На рукописи стояли роковые слова: «возв...»

– Я носил ее в три редакции, но там не приняли... Верно, и не читали! Известно, как относятся редакции к молодым писателям! Прочтите, господа, и скажите ваше мнение... Я в самом деле начинаю думать: не бросить ли мне писать!

На другой день мы стали читать рукопись. Этот роман был черт знает что такое.

Через несколько дней является Иван Ракушкин.

– Прочли?

– Прочли.

– Ну что же?

– Брось, Иван, писать! – заметил актер. – Право, брось лучше!

– А ты что скажешь?

– Я подпишусь под его словами!

– Ну, брат, тебе нельзя в этом случае доверять...

Ты тоже литератор! – заметил, хитро улыбаясь, Иван

Ракушкин. – Да и он относится с предубеждением...

Мы стали его серьезно убеждать бросить писание и предложили следующее: мы свезем рукопись к одному известному критику, пользовавшемуся общим уважением, и пусть он скажет свое мнение.

Ракушкин согласился.

– Тогда ты бросишь писать, если он скажет, что роман твой плох? – спросил актер.

– Брошу! – сумрачно ответил Иван Ракушкин, уходя вон.

Мы поехали к известному критику и рассказали, в чем дело. Критик был так любезен, что охотно согласился внимательно прочитать рукопись и дать через неделю ответ.

– Только напрасно вы думаете излечить его от этой болезни. Это болезнь ужасная! – прибавил, улыбаясь, критик.

Через неделю мы получили обратно рукопись с замечаниями. В них, в крайне деликатной форме, был выражен совет автору никогда не писать беллетристических вещей.

На другой день Ракушкин пришел к нам. Он был взволнован. Голубые его глаза блестели... Лицо то и дело вспыхивало.

Он, как и все очень самолюбивые люди, не сразу повел разговор о том, что его занимало больше всего,

а заговорил о каких-то пустяках... Только через полчаса он, как бы нечаянно, обронил:

– Ну что, Х* прочел рукопись?

– Прочел... Вот и ответ.

Он стал читать. По лицу его пробежала горькая усмешка: не то тяжелое сознание, что критик прав, не то высокомерная уверенность непризнанного гения... Когда Ракушкин дочитал до конца, он взял рукопись и, уходя, сказал:

– Теперь шабаш... Больше писать не буду!

– Слава богу! – заметил актер. – Бедный Иван излечился!

– Едва ли он сдержит слово. Ты видел, как он усмехался? – заметил я.

И я был прав. Не прошло и двух месяцев, как Ракушкин снова написал два романа, но уже под псевдонимом Ракитина. Ни одна редакция его романов не приняла, и он продал их одному рыночному книжному торговцу за пятьдесят рублей. Очень уж громкие были заглавия!

Оба романа были жестоко обруганы, но Иван Ракушкин равнодушно-презрительно отнесся к статьям и сказал:

– Много они понимают!.. Везде зависть и кумовство! Ракушкин был неисправим.



Прошло еще несколько лет, и Ракушкин куда-то исчез из Петербурга.

Однажды я получаю по городской почте письмо с знакомым почерком. Письмо было от Ивана: «Приходи, пожалуйста, ко мне, – писал он, – я болен, лежу в Мариинской больнице».

Я тотчас же поехал к нему и застал его за работой. Он писал новый роман. Увидав меня, он горько-горько улыбнулся и сказал:

– Я, как видишь, неисправим.

Он был совсем худ, изнурен и истомлен, в последнем градусе чахотки. В эти годы он бедствовал по разным местам России, но нигде не устраивался, отдавая большую часть своего времени писанью... Жизнь его была настоящим бедованием; бабушка давно умерла, и он перебивался кое-как. От мест он отказывался.

– Видишь ли, на местах надо тратить много времени на скучную работу, и мне не было бы времени писать...

Я долго просидел около него. Он с лихорадочной поспешностью говорил о своих новых работах, о своих мечтах...

– Я верю, что могу создать большое произведе-

ние... Ты читал, как сперва Золя не признавали?.. И однако же в конце концов...

От долгого разговора он ослабел и склонился на подушку...

– Послушай... – тихо проговорил он спустя несколько времени, – если я умру... снеси мои произведения к N (он назвал имя одного известного писателя) и попроси его прочесть.

Я обещал.

– А пока прочти вот эту вещь и приходи сказать мне... какова она?.. Ты только, смотри, не церемонься... не жалея больного... говори правду!

Он протянул руку, взял со столика рукопись и передал мне.

Я взял тетрадь и скоро простился с ним.

В тот же вечер я принялся за рукопись. Меня поразило, что она была написана не рукой Ивана, а чьей-то другой рукой... Я стал читать и пришел в восторг... Это была замечательно талантливая вещь. Я был обрадован за моего приятеля и рано утром спешил к нему.

– Поздравляю... поздравляю тебя! Ты наконец написал прелестную вещь!

Ракушкин весь просиял. Глаза радостно блеснули... Румянец покрыл его бледное, исхудалое лицо.

Я подал ему рукопись. Он взглянул на нее и вдруг

печально поник, точно ему объявили смертный приговор...

– Это не моя рукопись... Это рукопись одного молодого человека здесь в больнице... Я дал тебе ее по ошибке, – глухо прошептал он.

Я молча сидел, точно виноватый.

Наконец он несколько оправился и тихо сказал:

– Молодой человек читал мне свою повесть. Я удивляюсь, что ты в ней нашел особенно хорошего!..

Я ничего не ответил.

Через несколько времени бедный мой приятель стал бредить и в бреду рядом с именами Бальзака, Тургенева и Толстого повторял имя Ивана Ракушкина.

Когда на другой день я пришел в больницу, моего приятеля уже не было на свете. Он умер в ту же ночь и перед смертью говорил своему соседу, что придет время, когда Россия оценит произведения Ивана Ракушкина.